

ВЕЧЕР У КАНТЕМИРА

Антиох Кантемир, посланник русский при дворе Людовика XV, предпочитал уединение шуму и рассеянию блестящего двора. Свободное время от должности он посвящал наукам и поэзии. В мирном кабинете, окруженный любимыми книгами, он часто восклицал, перечитывая Плутарха, Горация и Виргилия: «Счастлив — кто, довольствуясь малым, свободен, чужд зависти и предрассудков, имеет совесть чистую и провождает время с вами, наставники человечества, мудрецы всех веков и народов:

...с вами, греки и латины...
Исследую всех вещей действия и причины.¹

Ум его имел свойства, редко соединяемые: основательность, точность и воображение. Часто углубленный в исчисления алгебраические, Кантемир искал истину и, подобно мудрецу Сиракуз,² забывал мир, людей и общество, беспрестанно изменяющееся. Он занимался науками не для того, чтобы щеголять знаниями в суетном кругу ученых женщин или академиков; нет, он любил науки для наук, поэзию для поэзии: редкое качество, истинный признак великого ума и прекрасной, сильной души! В Париже, где самолюбие знатного человека может собирать беспрестанно похвалы и приветствия за малейший успех в словесности, где несколько небрежных стихов, иностранцем написанных, дают право гражданства в республике словесности, Кантемир писал русские стихи. И в какое время? Когда язык наш едва становился способным выражать мысли просвещенного человека. Бросьте на остров необитаемый математика и стихотворца, говорил Даламбер,— первый будет проводить линии и составлять углы, не заботясь, что никто не воспользуется его наблюдениями; второй перестанет сочинять стихи, ибо никому хвалить их; следовательно, поэзия и поэт, заключает *рассудительный* философ, питаются суетностью. Париж был сей необитаемый остров для Кантемира. Кто понимал его? Кто восхищался его *русскими* стихами? В самой России, где общество, науки и словесность были еще в пеленах, он, нет

сомнения, находил мало ценителей своего таланта. Душою и умом выше времени и обстоятельств, он писал стихи, он поправлял их беспрестанно, желая достигнуть возможного совершенства, и, казалось, завещал благодарному потомству и книгу и славу свою. Талант питается хвалою, но истинный, великий талант и без нее не умирает. Поэт может быть суетным, равно как и ученый; но истинный поэт, истинный любитель всего прекрасного не может существовать без деятельности, и то, что было сказано нашим Катуллом о нашем Бавии:

С последним вздохом он издаст последний стих.³

почти то же можно сказать о великом стихотворце. На одре смерти Сервантес не покидал пера своего. Камоенс писал «Лузиаду» посреди племен диких. Тасс, несчастный Тасс, в ужасном заключении беседовал с музами. Державин, за час перед смертью, хладящими перстами извлекал звуки из бессмертной лиры своей. Сих ли людей обвиним в суетности?

Но возвратимся к Кантемиру.

Однажды повечеру Монтескье и аббат В., известный остроумец, навестили нашего стихотворца. Он беседовал с своей музою и не приметил входящих друзей, которые имели к нему свободный доступ. Несколько минут Кантемир перечитывал начало послания своего к князю Никите Трубецкому⁴, и всегда с новым жаром и удовольствием. При чтении спокойное и даже холодное лицо Кантемира приметным образом изменялось: глаза его сверкали, как молния, щеки разгорелись, и рука его ударила такту по отверзтой пред ним книге. Монтескье взглянул на аббата, кивнул ему головою и намеревался удалиться. Они не хотели беспокоить министра, полагая, что он занят важным государственным делом. Кантемир услышал за собою шорох, оглянулся и бросился обнимать неожиданных гостей.

— Мы вам помешали: мы пришли не в пору.

— Нимало!

— Вы читали важные бумаги?

— Я забавлялся: перечитывал стихи моего сочинения.

— Но какие? Мы ни слова не поняли.

— Русские!

— Русские стихи, — восклицал аббат, пожимая плечами от удивления, — русские стихи! Это любопытно.

Кантемир.

Слабое подражание Горацию, Ювеналу и Персию. Вы знаете мою страсть к древним писателям: она завлекла меня далеко. Не в силах будучи сравниться с древними поэтами Рима, я влачусь за ними, как раб за господином или

как страстный любовник за гордою красавицею. Вы никогда не писали стихов, господин президент, и не знаете сего мучения и удовольствия, которое называют метроманиею?

Монтеस्कье.

Ваша правда. Я не писал стихов, но люблю стихи, когда нахожу в них столько же мыслей, сколько слов, когда они ясны, сильны, выразительны, одним словом, — хороши, как проза. Я всегда уважал сатиры и послания Горация: они знакомят нас с Римом, со нравами, с образом жизни переродившихся потомков Брутов, Кориоланов и Сципионов. Ювенала перечитываю с удовольствием: прямой римлянин душою! Он то же в стихах, что Тацит в прозе. Я люблю творения сих поэтов, как памятники языка, образованного целыми веками славы народной, языка мужественного, обильного, выразительного — почтенного родителя языков новейших.

Аббат В.

И господин президент, конечно, сожалеет, что вы пишете русские стихи. Зная совершенно язык латинский и наш французский, столь ясный, точный и красивый, вы лишаете нас удовольствия читать ваши прелестные произведения.

Монтеस्कье.

Сожалею и удивляюсь, как можно писать, — скажу более, — как можно мыслить на языке необразованном? Вы пишете по-русски, а ваш язык и нация еще в пеленах.

Кантемир.

Справедливо! Русский язык в младенчестве, но он богат, выразителен, как язык латинский, и со временем будет точен и ясен, как язык остроумного Фонтенеля⁵ и глубоко-мысленного Монтеस्कье. Теперь я принужден бороться с величайшими трудностями, принужден изобретать беспрестанно новые слова, выражения и обороты, которые, без сомнения, обветшают через несколько годов. Переводя «Миры» Фонтенелевы, я создавал новые слова: академия Петербургская часто одобряла мои опыты. Я очищал путь для моих последователей.

Аббат В.

Но скажите, бога ради, как же вы могли присвоить все тонкие выражения и обороты первого щеголя языка французского, нашего семидесятилетнего Фонтенеля?

Кантемир.

Как умел! Я следовал рабски по следам его. Перевод мой слаб, груб, неверен. Скифы заставили пленного грека

изваять Венеру и обещали ему свободу. Грек был дурной ваятель; в Скифии не было ни паросского мрамора, ни хороших резцов; за неимением их соотечественник Праксителев употребил грубый гранит, молот, простую пилу и создал нечто похожее на Венеру, следуя заочно образцу, столь славному не только в Греции, но даже в землях варваров. Скифы быди довольны, ибо не знали божественного подлинника, и поклонялись новой богине с детским усердием. Скифы — мои соотечественники, Праксителева статуя — книга бессмертного Фонтенеля, а я — сей грек, неискусный ваятель.

А б б а т В.

О, вы слишком скромны, почтенный князь!

К а н т е м и р.

Не довольствуясь опытом моим над Фонтенелем, я принялся за «Персидские письма».⁶

А б б а т В.

«Персидские письма» по-русски!

М о н т е с к ь е.

Мог ли я ожидать, что первое, слабое произведение моего пера отнимет у вас столько драгоценного времени?

А б б а т В.

Теперь гиперборейцы⁷ узнают, как ветрены и малодушны обитатели берегов Сейны.

К а н т е м и р.

И как остроумны.

А б б а т В.

Я давно на вечерах г-жи Жофрень⁸, которая вас превозносит, но в душе своей ненавидит, давно предсказывал вашу славу, господин Монтестье!

В земле своей никто пророком не бывал,—

но мое пророчество сбылось, как видите. Легко, быть может, что в эту самую минуту на берегах Ледовитого моря, на берегах Лены или Оби, в пустынях Татарии читают ваши остроумные письма и имя Монтестье гремит в становищах калмыков и самоедов.

М о н т е с к ь е.

Читают «Персидские письма» при свете лампы, налитой рыбьим жиром...

А б б а т В.

Или при свете северного сияния... Конечно, странно, чудесно! А мы говорим с таким пренебрежением о великой Московии!

К а н т е м и р.

Калмыки и самоеды не читают философических книг и, конечно, долго читать не будут. Но в Москве многолюдной, в рождающейся столице Петра, в монастырях Малой и Великой России есть люди просвещенные и мыслящие, которые умеют наслаждаться прекрасными произведениями муз.

М о н т е с к ъ е.

Число таких людей должно быть весьма ограничено. До сих пор я думал и думаю, что климат ваш, суровый и непостоянный, земля, по большей части бесплодная, покрытая в зиму глубокими снегами, малое население, трудность сообщений, образ правления, почти азиатский, закоренелые предрассудки и рабство, утвержденные веками навыки, — все это вместе надолго замедлит ход ума и просвещения. Власть климата есть первая из властей.

А б б а т В.

Я с вами согласен и полагаю, что все усилия исполинского царя, все, что он ни сотворил железною рукою, все разрушится, упадет, исчезнет. Природа, обычаи древние, суеверие, неисцелимое варварство возьмут верх над просвещением слабым и неосновательным, и вся полудикая Московия снова будет дикою Московиею, и вечный туман забвения покроет дела и жизнь преемников Петра Великого.

К а н т е м и р.

Я осмелюсь спорить с великим творцом книги «О существе законов» и с вами, любезный аббат. Россия пробудилась от глубокого сна, подобно баснословному Эпимениду.⁹ Заря, осветившая нашу землю, предвещает прекрасное утро, великолепный полдень и ясный вечер: вот мое пророчество!

А б б а т В.

Но это не заря — северное сияние. Блеску много, но без света и без теплоты.

М о н т е с к ъ е.

Остроумный аббат сказал великую истину. Положим — трудное предположение, едва ли сбыточное дело! — положим, что правительство откроет все пути к просвещению, что будет беспрестанно призывать иностранцев для воспитания юношества, построит теплые дома для училищ и из сих

парников и теплиц просвещения соберет несколько незрелых и несочных плодов; положим, что правительство образует всенных людей, довольно искусных, несколько мореходцев, небольшое число артиллеристов, инженеров и проч. Но скажите: может ли правительство вдохнуть вкус к изящному, к наукам отвлеченным, умозрительным? Какая сила изменит климат? Кто может вам даровать новое небо, новый воздух, новую землю?

А б б а т В.

И новое солнце! Как можно сеять науки там, где осенью серп земледельца пожинает редкие класы на браздах, потом его орошенных, где зимою от холоду чугуи распадается и топор жидкости рубит?

«Caeduntque securibus humida vina»*.

М о н т е с к ь е.

Холодный воздух сжимает железо: как же не действовать ему на человека? Он сжимает его фибры, он дает им силу необыкновенную. Эта сила физическая сообщается душе; она внушает ей храбрость в опасности, решительность, бодрость, крепкую надежду на себя, она есть тайная пружина многих прекрасных свойств характера; но она же лишает чувствительности, необходимой для наук и искусств. Теплота, напротив того, расширяя тончайшую плену кожи, раскрывает оконечности нервов и сообщает им чудесную раздражительность. В землях холодных наружная кожа столь сильно сжата воздухом, что нервы, так сказать, лишены жизни и редко, очень редко сообщают слабые ощущения свои мозгу. Вы знаете, что от бесчисленного количества слабых ощущений зависят воображение, вкус, чувствительность и живость. Надобно содрать кожу с гиперборейца, чтобы заставить его что-нибудь почувствовать.**

А б б а т В.

Что можете отвечать на это? Вы станете защищать соотечественников ваших как министр и на сильные, неотразимые силогизмы президента отвечать дипломатическими, отклоняющими истину фразами?

К а н т е м и р.

Я родился в Константинополе. Праотцы мои происходят от древней фамилии, некогда обладавшей престолом Восточной империи. Следственно, во мне играет еще кровь греческая, и я непритворно люблю голубое небо и вечнозеленые

* Рубят топором ранее жидкие вина (стих из «Георгик» Виргилия) (лат.).

** Il faut écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment (фр.).

оливы стран полуденных. В молодости я странствовал с отцом моим, неразлучным спутником, искренним другом Петра Великого, и видел обширные долины России от Днепра до Кавказа, от Каспийского моря до берегов величественной Москвы. Я знаю Россию и обитателей ее. Хижина земледельца и терем боярина мне равно известны. Руководимый наставлениями отца моего, просвещеннейшего человека в Европе, с ранних лет воспитанный в училище философии и опытности, будучи обязан по званию моему иметь беспрестанные и тесные сношения с иностранцами всех наций, я не мог сохранить предрассудков *варварских* и привык смотреть на новое отечество мое оком беспристрастного наблюдателя. В Версали, в кабинете короля вашего, в присутствии министров, я — представитель великого народа и всемогущей его монархини, но здесь, в обществе дружеском с великим гением Европы, поставляю обязанностию говорить откровенно, и вы, господин аббат, скорее обличите Кантемира в невежестве, нежели в пристрастии или нечистосердечии. Вот мой ответ: вы знаете, что Петр сделал для России: он создал людей... Нет, он развил в них все способности душевные, он вылечил их от болезни невежества, и русские, под руководством великого человека, доказали в короткое время, что таланты *свойственны человечеству*. Не прошло пятнадцати лет, и великий монарх наслаждался уже плодами знаний своих сподвижников: все вспомогательные науки военного дела процвели внезапно в государстве его. Мы громами побед возвестили Европе, что имеем артиллерию, флот, инженеров, ученых, даже опытных мореходцев. Чего же хотите от нас в столь короткое время? Успехов ума, успехов в науках отвлеченных, в изящных искусствах, в красноречии, в поэзии? Дайте нам время, продлите благоприятные обстоятельства и вы не откажете нам в *лучших* способностях ума. Вы говорите, что власть климата есть первая из властей. Не спорю: климат имеет влияние на жителей; но это влияние — как вы сами заметили в бессмертной книге своей, — это влияние бывает уменьшено или ограничено образом правления, нравами, общежитием. Самый климат России разнообразен. Иностранцы, говоря о нашем отечестве, полагают вообще, что Московия покрыта вечными снегами, населена дикими. Они забывают неизмеримое пространство России; они забывают, что в то время, когда житель влажных берегов Белого моря ходит за куницею на быстрых лыжах своих, счастливый обитатель устьев Волги собирает пшеницу и благодатное просо. Самый север не столь ужасен взорам путешественника, ибо он дает все потребное возделывателю полей. Пдуг есть основание общества, истинный узел гражданства, опора законов, а где, в какой стране России не оставляет он благодетельных

следов своих? С успехами людкости и просвещения север беспрестанно изменяется и, если смею сказать, прирастает к просвещенной Европе. Скажите: когда Тацит описывал германцев, думал ли тогда Тацит, что в диких лесах ее возникнут города великолепные, что в древней Паннонии и Норике родятся светильники ума человеческого? Нет, конечно! Но Петр Великий, заключив судьбу полумира в руке своей, утешал себя великою мыслию, что на берегах Невы древо наук будет процветать под сению его державы и рано или поздно, но даст новые плоды, и человечество обогатится ими. Вы, господин Монтескье, наблюдаете беспрестанно мир политический; на развалинах протекших веков, на прахе гордого Рима и прелестной Греции вы постигли причины настоящих явлений, научились пророчествовать о будущем. Вы знаете, что с успехами просвещения изменяются явным и неприметным образом все формы правления; вы заметили сии изменения в земле русской. Время все разрушает и созидает, портит и совершенствует. Может быть, чрез два или три столетия, может быть, и ранее благие небеса даруют нам гения, который постигнет вполне великую мысль Петра и обширнейшая земля в мире, по творческому гласу его, учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, нравов, дающих постоянство законов, одним словом — хранилищем просвещения. Лестные надежды, вы сбудетесь, конечно! Благодетель семейства моего, благодетель России, почивает во гробе; но дух его, сей деятельный, сей великий дух, не покидает страны, ему любезной: он всюду присутствует, все оживляет, всему дает душу, и новую жизнь, и новую силу; он, кажется мне, беспрестанно вещает России: иди вперед, не останавливайся на поприще, мною отверзтом, и достигнешь великой цели, мной назначенной!

Монтескье.

Но искусства? Могут ли они процветать в туманах Невы или под суровым небом московским?

Аббат В.

Искусства... Ах, им-то нужен прозрачный воздух и яркое солнце Рима, древней Эллады или умеренный климат нашей Франции!

Кантемир.

Полуденные страны были родиною искусств; но сии прелестные дети воображения были часто вытесняемы из родины своей варварством, суеверием, железом завоевателей и, как быстрые волны, разлились по лицу земному. Музыка, живопись и скульптура любят свое древнее отечество, а еще более — многолюдные города, роскошь, нравы изнеженные.

Но поэзия свойственна всему человечеству; там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли, там, где он существует, там же он наслаждается и чувствует добро или зло, любит и ненавидит, укоряет и ласкает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии.

А б б а т В.

Так! Но оно — признайтесь — не столь чувствительно на севере?

М о н т е с к ь е.

Я видел оперу в Англии и в Италии. От музыки, которую англичане слушают спокойно, итальянцы бывают вне себя и прыгают, как Пифия¹⁰ на пророческом треножнике.

К а н т е м и р.

Что доказывает это? Что чувствительность народов южных раздражительнее, общительнее, но едва ли столь глубока, столь сильна, как чувствительность народов северных. В бытность мою в Лондоне ученый шотландец N. N. показывал мне песни его горных соотечественников: они напоминают древнего Омира и силою мыслей, глубиною чувств превосходят многие произведения музы итальянской.

А б б а т В.

Невероятно!

К а н т е м и р.

Мы, русские, имеем народные песни: в них дышит нежность, красноречие сердца, в них видна сия задумчивость, тихая и глубокая, которая дает неизъяснимую прелесть и самым грубым произведениям северной музыки.

А б б а т В.

Чудесно, по чести, невероятно!

К а н т е м и р.

Скажите: если грубые дети севера умеют чувствовать и изъясняться столь живо и приятно, то чего нельзя ожидать нам от людей образованных?

А б б а т В.

Но, почтенный защитник севера, вы знаете, что народные песни — лепетание младенцев!

К а н т е м и р.

Младенцев, которые со временем возмужают. Как знать? Может быть, на диких берегах Камы или величественной

Волги возникнут великие умы, редкие таланты. Что скажете, господин президент, что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких, родился великий гений, что он прошел исполинскими шагами все поле наук, как философ, как оратор и поэт, преобразовал язык свой и оставил по себе вечные памятники? Это одно предположение, но дело возможное. Что скажете, если...

А б б а т В.

Но к чему сии гипотезы? Легче поверю, что русские взяли приступом Париж и уничтожили все крепости, Вобаном построенные! *Впрочем, для чудес нет законов*, говорил мне Фонтенель с значительною усмешкою, прочитав в первый раз свое глубокомысленное рассуждение об оракулах. Все надежды ваши, может быть, и сбудутся, или вы найдете их в царстве луны, с утраченными надеждами Астольфа.¹¹ Но простите моему чистосердечию... Признаюсь, я до сих пор смотрю на вас с удивлением и не могу постигнуть, как можно в Париже, на земле Расина и Корнеля, писать русские стихи.

К а н т е м и р.

Это напоминает: как можно быть персиянином.¹²

М о н т е с к ь е.

Вы хотели поразить нас собственным нашим оружием. Но позвольте сделать одно замечание. Вы подражаете Горацию и Ювеналу, следовательно пишете сатиры, сатиры на нравы, которые еще не установились. Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения; остроумный и всегда рассудительный Буало писал при дворе великого короля в самую блестящую эпоху монархии французской. Теперь общество в России должно представлять ужасный хаос — грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиатской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпиграммы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое в пороках, закаленное в невежестве? И что значат сии стрелы в земле, где женщины, хранительницы нравов, едва начинают освеждаться из-под ига мужей своих, в земле, где общественное мнение еще шатается, еще не установилось и не может наказывать своим приговором того, что не подлежит суду законов? Одним словом — как можно смеяться говорить истину властелинам или рабам? Первым — опасно, другим — бесполезно.

Пользуясь покровительством монархов и вельмож, занимающих первые степени в государстве, я без страха говорил истину, и мои сатиры принесли некоторую пользу. Петр Великий, преобразуя Россию, старался преобразовать и нравы. Новое поприще открылось наблюдателю человечества и страстей его: мы увидели в древней Москве чудесное смешение старины с новизною, две стихии в беспрестанной борьбе одна с другою. Новые обычаи, новые платья, новый род жизни, новый язык не могли еще изменить древних людей, изгладить древний характер: иные бояре, надевая парик и новое платье, оставались с прежними предрассудками, с древним упрямством и тем казались еще страннее; другие, отложив бороду и длинный кафтан праотеческий, с платьем европейским надевали все пороки, все слабости ваших соотечественников, но вашей любезности и людкости занять не умели. Частые перемены при дворе возводили на высокие степени государственные людей низких и недостойных: они являлись и исчезали; временщик сменял временщика, толпа льстецов — другую толпу. Гордость и низость, суеверие и кощунство, лицемерие и явный разврат, скупость и расточительность неимоверная, одним словом — страсти по всему противоположные сливались чудесным образом и представляли новое зрелище равнодушному наблюдателю и философу, который только ощущу и с Горацием в руках мог отыскивать счастливую средину вещей. Я старался изловить некоторые черты сих времен; скажу более: я старался явить порок во всей наготе своей и намекнуть соотечественникам истинный путь честности, благих нравов и добродетели. Ученый Феофан, архимандрит Кролик — оба достойные пастыри, — Никита Трубецкой и другие вельможи одобрили мои слабые опыты, мое перо неискусное, но смелое, чистосердечное. Я первый осмелился писать так, как говорят; я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, несвойственные языку русскому, и открыл новую дорогу для грядущих талантов. Сатиры мои будут иметь некоторую цену для потомков наших, подобно древним картинам первых живописцев, предшественников Рафаэля; в них они найдут изображение верное нравов и языка русского в славном периоде для России — от времен Петра до царствования счастливой, обожаемой нами Елизаветы, и имя мое — простите мне авторское самолюбие — будет уважаемо в России более потому, что я первый осмелился говорить языком муз и философии, нежели потому, что занимал важное место при дворе вашем.

А б б а т В .

Прекрасно! Вы говорите, как истинный философ.

Монтескье.

Мы желали бы видеть ваши сатиры на французском языке. Отчасти я согласен с вами: картина нравов народа почти нового всегда любопытна. Но... вот и аббат Гуаско,¹³ ваш приятель...

— Вы очень кстати навестили нас!— сказал Кантемир, обнимая аббата.— Вы перевели мои сатиры на французский язык: прочитайте что-нибудь в угождение господину президенту; а у вас, господа, прошу терпения и снисхождения.

Чтение и разговор продолжались долго, даже за полночь. Наконец, Монтескье и аббат В. откланялись министру и расстались... довольны ли им — не знаю. Знаю только, что Кантемир, шевеля гаснувшие уголья в камине, сказал аббату Гуаско:

— Признайся, любезный друг, Монтескье — умный человек, великий писатель, но...

— Но говорит о России, как невежда, — прибавил аббат Гуаско.

Скромный Кантемир улыбнулся, пожелал доброй ночи аббату, и они расстались.